

МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ

Было мне тогда без малого одиннадцать лет. В июле отпустили меня гостить в подмосковную деревню, к моему родственнику, Т-ву, к которому в то время съехалось человек пятьдесят, а может быть и больше, гостей... не помню, не сосчитал. Было шумно и весело. Казалось, что это был праздник, который с тем и начался, чтоб никогда не кончиться. Казалось, наш хозяин дал себе слово как можно скорее промотать все свое огромное состояние, и ему удалось-таки недавно оправдать эту догадку, то есть промотать все, дотла, дочиستا, до последней щепки. Поминутно наезжали новые гости, Москва же была в двух шагах, на виду, так что уезжавшие только уступали место другим, а праздник шел своим чередом. Увеселения сменялись одни другими, и затеям конца не предвиделось. То верховая езда по окрестностям, целыми партиями, то прогулки в бор или по реке; пикники, обеды в поле; ужины на большой террасе дома, обставленной тремя рядами драгоценных цветов, заливавших ароматами све-

жий ночной воздух, при блестящем освещении, от которого наши дамы, и без того почти все до одной хорошенькие, казались еще прелестнее с их одушевленными от дневных впечатлений лицами, с их сверкавшими глазками, с их перекрестною резвою речью, переливавшеюся звонким, как колокольчик, смехом; танцы, музыка, пение; если хмурилось небо, сочинялись живые картины, шарады, пословицы; устраивался домашний театр. Явились краснобаи, рассказчики, бонмотисты.

Несколько лиц резко обрисовалось на первом плане. Разумеется, злословие, сплетни шли своим чередом, так как без них и свет не стоит, и миллионы особ перемерли бы от тоски, как мухи. Но так как мне было одиннадцать лет, то я и не замечал тогда этих особ, отвлеченный совсем другим, а если и заметил что, так не все. После уже кое-что пришлось вспомнить. Только одна блестящая сторона картины могла броситься в мои детские глаза, и это всеобщее одушевление, блеск, шум — все это, доселе невиданное и неслыханное мною, так поразило меня, что я в первые дни совсем растерялся и маленькая голова моя закружилась.

Но я все говорю про свои одиннадцать лет, и, конечно, я был ребенок, не более как ребенок. Многие из этих прекрасных женщин, лаская меня, еще не думали справляться с моими годами. Но — странное дело! — какое-то непонятное

мне самому ощущение уже овладело мною; что-то шелестило уже по моему сердцу, до сих пор незнакомое и неведомое ему; но отчего оно подчас горело и билось, будто испуганное, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо мое. Порой мне как-то стыдно и даже обидно было за разные детские мои привилегии. Другой раз как будто удивление одолевало меня, и я уходил куда-нибудь, где бы не могли меня видеть, как будто для того, чтоб перевести дух и что-то припомнить, что-то такое, что до сих пор, казалось мне, я очень хорошо помнил и про что теперь вдруг позабыл, но без чего, однако ж, мне покуда нельзя показаться и никак нельзя быть.

То, наконец, казалось мне, что я что-то затаил от всех, но ни за что и никому не рассказывал об этом, затем, что стыдно мне, маленькому человеку, до слез. Скоро среди вихря, меня окружавшего, почувствовал я какое-то одиночество. Тут были и другие дети, но все — или гораздо моложе, или гораздо старше меня; да, впрочем, не до них было мне. Конечно, ничего б и не случилось со мною, если б я не был в исключительном положении. На глаза всех этих прекрасных дам я все еще был то же маленькое, неопределенное существо, которое они подчас любили ласкать и с которым им можно было играть, как с маленькой куклой. Особенно одна из них, очаровательная блондинка, с пышными, густейшими волосами,

каких я никогда потом не видел и, верно, никогда не увижу, казалось, поклялась не давать мне покоя. Меня смущал, а ее веселил смех, раздававшийся кругом нас, который она поминутно вызывала своими резкими, взбалмошными выходками со мною, что, видно, доставляло ей огромное наслаждение. В пансионах, между подругами, ее наверно прозвали бы школьницей. Она была чудно хороша, и что-то было в ее красоте, что так и металось в глаза с первого взгляда. И, уж конечно, она непохожа была на тех маленьких стыдливеньких блондинок, беленьких, как пушок, и нежных, как белые мышки или пасторские дочки. Ростом она была невысока и немного полна, но с нежными, тонкими линиями лица, очаровательно нарисованными. Что-то как молния сверкающее было в этом лице, да и вся она — как огонь, живая, быстрая, легкая. Из ее больших открытых глаз будто искры сыпались; они сверкали, как алмазы, и никогда я не променяю таких голубых искрометных глаз ни на какие черные, будь они чернее самого черного андалузского взгляда, да и блондинка моя, право, стоила той знаменитой брюнетки, которую воспел один известный и прекрасный поэт и который еще в таких превосходных стихах поклялся всей Кастилией, что готов переломать себе кости, если позволят ему только кончиком пальца прикоснуться к мантилье его красавицы. Прибавь к тому, что моя красавица была самая веселая из

всех красавиц в мире, самая взбалмошная хохотунья, резвая как ребенок, несмотря на то что лет пять как была уже замужем. Смех не сходил с ее губ, свежих, как свежа утренняя роза, только что успевшая раскрыть, с первым лучом солнца, свою алую, ароматную почку, на которой еще не обсохли холодные крупные капли росы.

Помню, что на второй день моего приезда был устроен домашний театр. Зала была, как говорится, набита битком; не было ни одного места свободного; а так как мне привелось почему-то опоздать, то я и принужден был наслаждаться спектаклем стоя. Но веселая игра все более и более тянула меня вперед, и я незаметно пробрался до самых первых рядов, где и стал наконец, облокотясь на спинку кресел, в которых сидела одна дама. Это была моя блондинка; но мы еще знакомы не были. И вот, как-то невзначай, засмотрелся я на ее чудно-округленные, соблазнительные плечи, полные, белые, как молочный кипень, хотя мне решительно все равно было смотреть: на чудесные женские плечи или на чепец с огненными лентами, скрывавший седины одной почтенной дамы в первом ряду. Возле блондинки сидела перезрелая дева, одна из тех, которые, как случилось мне потом замечать, вечно ютятся где-нибудь как можно поближе к молоденьким и хорошеньким женщинам, выбирая таких, которые не любят гонять от себя молодежь. Но не в том дело; толь-

ко эта дева подметила мои наблюдения, нагнулась к соседке и, хихикая, пошептала ей что-то на ухо. Соседка вдруг обернулась, и помню, что огневые глаза ее так сверкнули на меня в полусумраке, что я, не приготовленный к встрече, вздрогнул, как будто обжегшись. Красавица улыбнулась.

— Нравится вам, что играют? — спросила она, лукаво и насмешливо посмотрев мне в глаза.

— Да, — отвечал я, все еще смотря на нее в каком-то удивлении, которое ей в свою очередь, видимо, нравилось.

— А зачем же вы стоите? Так — устанете; разве вам места нет?

— То-то и есть, что нет, — отвечал я, на этот раз более занятый заботой, чем искрометными глазами красавицы, и пресерьезно обрадовавшись, что нашлось наконец доброе сердце, которому можно открыть свое горе. — Я уж искал, да все стулья заняты, — прибавил я, как будто жалуясь ей на то, что все стулья заняты.

— Ступай сюда, — живо заговорила она, скорая на все решения так же, как и на всякую сумасбродную идею, какая бы ни мелькнула в взбалмошной ее голове, — ступай сюда, ко мне, и садись мне на колени.

— На колени?.. — повторил я, озадаченный.

Я уже сказал, что мои привилегии серьезно начали меня обижать и совестить. Эта, будто на смех, не в пример другим далеко заходила. К тому

же я, и без того всегда робкий и стыдливый мальчик, теперь как-то особенно начал робеть перед женщинами и потому ужасно сконфузился.

— Ну да, на колени! Отчего же ты не хочешь сесть ко мне на колени? — настаивала она, начиная смеяться все сильнее и сильнее, так что наконец просто принялась хохотать бог знает чему, может быть, своей же выдумке или обрадовавшись, что я так сконфузился. Но ей того-то и нужно было.

Я покраснел и в смущении осматривался кругом, приискивая — куда бы уйти; но она уже предупредила меня, как-то успев поймать мою руку, именно для того, чтоб я не ушел, и, притянув ее к себе, вдруг, совсем неожиданно, к величайшему моему удивлению, пребольно сжала ее в своих шаловливых, горячих пальчиках и начала ломать мои пальцы, но так больно, что я напрягал все усилия, чтоб не закричать, и при этом делал пресмешные гримасы. Кроме того, я был в ужаснейшем удивлении, недоумении, ужасе даже, узнав, что есть такие смешные и злые дамы, которые говорят с мальчиками про такие пустяки да еще больно так щиплются, бог знает за что и при всех. Вероятно, мое несчастное лицо отражало все мои недоумения, потому что шалунья хохотала мне в глаза как безумная, а между тем все сильнее и сильнее щипала и ломала мои бедные пальцы. Она была вне себя от восторга, что удалось-таки нашкольничать, сконфузить бедного

мальчика и замистифицировать его в прах. Положение мое было отчаянное. Во-первых, я горел от стыда, потому что почти все кругом нас оборотились к нам, одни в недоумении, другие со смехом, сразу поняв, что красавица что-нибудь напроказила. Кроме того, мне страх как хотелось кричать, потому что она ломала мои пальцы с каким-то ожесточением, именно за то, что я не кричу: а я, как спартанец, решился выдерживать боль, боясь наделать криком суматоху, после которой уж не знаю, что бы случилось со мною. В припадке совершенного отчаяния начал я наконец борьбу и принялся из всех сил тянуть к себе свою собственную руку, но тиранка моя была гораздо меня сильнее. Наконец я не выдержал, вскрикнул, — того только и ждала! Мигом она бросила меня и отвернулась, как ни в чем не бывала, как будто и не она напроказила, а кто другой, ну точь-в-точь какой-нибудь школьник, который, чуть отвернулся учитель, уже успел напроказить где-нибудь по соседству, щипнуть какого-нибудь крошечного, слабосильного мальчика, дать ему щелчка, пинка, подтолкнуть ему локоть и мигом опять повернуться, поправиться, уткнувшись в книгу, начать долбить свой урок и, таким образом, оставить разгневанного господина учителя, бросившегося, подобно ястребу, на шум, — с предлинным и неожиданным носом.

Но, к моему счастью, общее внимание увлечено было в эту минуту мастерской игрой нашего

хозяина, который исполнял в игравшейся пьеске, какой-то скрибовской комедии, главную роль. Все заплодировали; я, под шумок, скользнул из ряда и забежал на самый конец залы, в противоположный угол, откуда, притаясь за колонной, с ужасом смотрел туда, где сидела коварная красавица. Она все еще хохотала, закрыв платком свои губки. И долго еще она оборачивалась назад, выглядывая меня по всем углам, — вероятно, очень жалея, что так скоро кончилась наша сумасбродная схватка, и придумывая, как бы еще что-нибудь напроказить.

Этим началось наше знакомство, и с этого вечера она уже не отставала от меня ни на шаг. Она преследовала меня без меры и совести, сделалась гонительницей, тиранкой моей. Весь комизм ее проделок со мной заключался в том, что она сказалась влюбленною в меня по уши и резала меня при всех. Разумеется, мне, прямому дикарю, все это до слез было тяжело и досадно, так что я уже несколько раз был в таком серьезном и критическом положении, что готов был подраться с моей коварной обожательницей. Мое наивное смущение, моя отчаянная тоска как будто окрыляли ее преследовать меня до конца. Она не знала жалости, а я не знал — куда от нее деваться. Смех, раздававшийся кругом нас и который она умела-таки вызвать, только поджигал ее на новые шалости. Но стали наконец находить ее шутки немного

слишком далекими. Да и вправду, как пришлось теперь вспомнить, она уже чересчур позволяла себе с таким ребенком, как я.

Но уж такой был характер: была она, по всей форме, баловница. Я слышал потом, что избаловал ее всего более ее же собственный муж, очень толстенький, очень невысокий и очень красный человек, очень богатый и очень деловой, по крайней мере с виду: вертлявый, хлопотливый, он двух часов не мог прожить на одном месте. Каждый день ездил он от нас в Москву, иногда по два раза, и все, как сам уверял, по делам. Веселее и добродушнее этой комической и между тем всегда порядочной физиономии трудно было сыскать. Он мало того, что любил жену до слабости, до жалости, — он просто поклонялся ей как идолу.

Он не стеснял ее ни в чем. Друзей и подруг у ней было множество. Во-первых, ее мало кто не любил, а во-вторых — ветреница и сама была не слишком разборчива в выборе друзей своих, хотя в основе ее характера было гораздо более серьезного, чем сколько можно предположить, судя по тому, что я теперь рассказал. Но из всех подруг своих она всех больше любила и отличала одну молодую даму, свою дальнюю родственницу, которая теперь тоже была в нашем обществе. Между ними была какая-то нежная, утонченная связь, одна из тех связей, которые зарождаются иногда при встрече двух характеров, часто совершенно

противоположных друг другу, но из которых один и строже, и глубже, и чище другого, тогда как другой, с высоким смирением и с благородным чувством самооценки, любовно подчиняется ему, почувствовав все превосходство его над собою, и, как счастье, заключает в сердце своем его дружбу. Тогда-то начинается эта нежная и благородная утонченность в отношениях таких характеров: любовь и снисхождение до конца, с одной стороны, любовь и уважение — с другой, уважение, доходящее до какого-то страха, до боязни за себя в глазах того, кем так высоко дорожишь, и до ревнивого, жадного желания с каждым шагом в жизни все ближе и ближе подходить к его сердцу. Обе подруги были одних лет, но между ними была неизмеримая разница во всем, начиная с красоты. М-ме М* была тоже очень хороша собой, но в красоте ее было что-то особенное, резко отделявшее ее от толпы хорошеньких женщин; было что-то в лице ее, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии, или, лучше сказать, что пробуждало благородную, возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. Есть такие счастливые лица. Возле нее всякому становилось как-то лучше, как-то свободнее, как-то теплее, и, однако ж, ее грустные большие глаза, полные огня и силы, смотрели робко и беспокойно, будто под ежеминутным страхом чего-то враждебного и грозного, и эта странная робость таким унынием покрыва-

ла подчас ее тихие, кроткие черты, напоминавшие светлые лица итальянских мадонн, что, смотря на нее, самому становилось скоро так же грустно, как за собственную, как за родную печаль. Это бледное, похуевшее лицо, в котором сквозь безукоризненную красоту чистых, правильных линий и унылую суровость глухой, затаенной тоски еще так часто просвечивал первоначальный детски ясный облик, — образ еще недавних доверчивых лет и, может быть, наивного счастья; эта тихая, но несмелая, колебавшаяся улыбка — все это поражало таким безотчетным участием к этой женщине, что в сердце каждого невольно зарождалась сладкая, горячая забота, которая громко говорила за нее еще издали и еще вчуже роднила с нею. Но красавица казалась как-то молчаливою, скрытною, хотя, конечно, не было существа более внимательного и любящего, когда кому-нибудь надобилось сочувствие. Есть женщины, которые точно сестры милосердия в жизни. Перед ними можно ничего не скрывать, по крайней мере ничего, что есть больного и уязвленного в душе. Кто страждет, тот смело и с надеждой иди к ним и не бойся быть в тягость, затем что редкий из нас знает, насколько может быть бесконечно терпеливой любви, сострадания и всепрощения в ином женском сердце. Целые сокровища симпатии, утешения, надежды хранятся в этих чистых сердцах, так часто тоже уязвленных, потому что сердце, кото-

рое много любит, много грустит, но где рана бережливо закрыта от любопытного взгляда, затем что глубокое горе всего чаще молчит и таится. Их же не испугает ни глубина раны, ни гной ее, ни смрад ее: кто к ним подходит, тот уж их достоин; да они, впрочем, как будто и рождаются на подвиг... М-ме М* была высока ростом, гибка и стройна, но несколько тонка. Все движения ее были как-то неровны, то медленны, плавны и даже как-то важны, то детски скоры, а вместе с тем и какое-то робкое смирение проглядывало в ее жесте, что-то как будто трепещущее и незащищенное, но никого не просившее и не молившее о защите.

Я уже сказал, что непохвальные притязания коварной блондинки стыдили меня, резали меня, язвили меня до крови. Но этому была еще причина тайная, странная, глупая, которую я таил, за которую дрожал, как кашей, и даже при одной мысли о ней, один на один с опрокинутой моей головою, где-нибудь в таинственном, темном углу, куда не посягал инквизиторский, насмешливый взгляд никакой голубоокой плутовки, при одной мысли об этом предмете я чуть не задыхался от смущения, стыда и боязни, — словом, я был влюблен, то есть, положим, что я сказал вздор: этого быть не могло; но отчего же из всех лиц, меня окружавших, только одно лицо уловлялось моим вниманием? Отчего только за нею я любил следить взглядом, хотя мне реши-